

СОДЕРЖАНИЕ

РИМ

О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ

Поэт и поэзия в римской культуре	13
Римская литература III–II веков до н.э.	46
Греческая и римская литература I века до н.э.	68
Греческая и римская литература I века н.э.	120
Греческая и римская литература II–III веков н.э.	151

ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ

Катулл, или Изобретатель чувства	183
Вергилий, или Поэт будущего	212
Вергилий и вергилианские центоны: поэтика формул и поэтика реминисценций (совместно с <i>Е. Г. Рузиной</i>)	237
<i>Вергилий</i> . Смесь II, X, XIII	260
Гораций, или Золото середины	262
Политический смысл литературных сатир Горация	292
Послание Горация к Августу: литературная полемика и политическая борьба	300
Топика и композиция гимнов Горация	315
Композиция «Поэтики» Горация	349
Две редакции «Поэтики» Горация	404
<i>Гораций</i> . Оды. Книга II. 17 (К Меценату), 19 (К Вакху). «Наука поэзии» (Послание к Пизонам)	415
Овидий, или Наука доброты	429
Овидий в изгнании	457
<i>Овидий</i> . Наука любви. Книга I	493
Светоний и его книга	513
<i>Светоний</i> . Жизнь двенадцати цезарей. Книга IV. Гай Калигула	530

О ПОЭТИКЕ И РИТОРИКЕ

Поэзия и проза — поэтика и риторика	555
Античная риторика как система	588
Цицерон и античная риторика	623

Поэзия риторического века	694
<i>Авсоний</i> . Круглый день	718
О знаменитых городах	724
Молитва ропалическая	729
Послание к Феону при получении от него тридцати устриц	731
<i>Клавдиан</i> . На бракосочетание Гонория и Марии	733
Похвала Серене	746
Против Руфина	754
Кверол, или Комедия о горшке	779
Басни Авиана (1, 7, 8, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 34, 36, 37)	842
«Дистихи Катона» (Первая книга двустиший. Одностишия)	849
Загадки Симфосия (1, 2, 12, 16, 18, 25, 26, 68, 69, 75, 76, 76а, 84, 86, 99, 100)	856
Стихи о фигурах красноречия (1–12, 21–23, 27–30, 32–36, 52–60)	859
Латинская антология	864
<i>Авит</i> . К новобрачной	864
<i>Региан</i> . Купанья в Байях	864
Вариации 12 мудрецов на тему эпитафии Вергилия	864
<i>Веспа</i> . Прение пекаря с поваром	866
<i>Драконтий</i> . Сотворение мира	869
<i>Максимиан</i> . Элегия V	877

ПОСЛЕ РИМА

О ЛИТЕРАТУРЕ В ЦЕЛОМ

Каролингское возрождение (VIII–IX века)	885
<i>Валахфрид Страбон</i> . Сапфические строфы	905
<i>Ноткер Заика</i> . Секвенция на Рождество Господне. Секвенция на праздник Пятидесятницы	908
Латинская литература между империей и папством (X–XI века)	911
Кембриджские песни («Лжец», «Стих о монахе Иоанне», «Весенние вздохи девушки»)	940
<i>Хильдеберт Лаварденский</i> . Первая элегия о Риме. Вторая элегия о Риме	944
<i>Марбод Реннский</i> . Стихотворные безделки	947
<i>Бальдерик Бургейльский</i> . О писчих табличках	948
Тринадцатый век: общество и литература	950
<i>Альбертино Муссато</i> . Эцеринида	963

О ПОЭТИКЕ И РИТОРИКЕ

Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики	985
<i>Матвей Вандомский. Из «Письмовника»</i>	1058

ОБ АВТОРАХ И ЖАНРАХ

Поэзия вагантов	1069
Чин голиардский	1127
<i>Гугон, Примас Орлеанский. Жизнь блудницы</i>	1130
<i>Архиписита Кельнский. Проповедь</i>	1132
<i>Вальтер Шатильонский. «Для Сиона не смолчу я...»</i>	1137
Кабацкая песня	1142
Комедия о трех девушках	1144
Поэзия Иоанна Секунда	1152
Работы М.Л. Гаспарова по античности и средним векам, не вошедшие в настоящее издание	1164

КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (VIII–IX ВЕКА)

«Каролингское возрождение» — это понятие принадлежит к числу самых спорных в истории европейской литературы. В какой мере возможно говорить о «возрождении» применительно к литературным явлениям VIII–IX веков и какое содержание следует вкладывать в этот термин, — об этом до сих пор нет единогласия.

Слово «Возрождение», как известно, впервые появилось и прочнее всего закрепилось в науке применительно к итальянскому (и, шире, общеевропейскому) культурному движению XV–XVI веков. Поэтому ответ на вопрос, можно ли тем же словом называть и культурное движение времен Карла Великого и его преемников, зависит от ответа на вопрос, что мы будем считать главной чертой Возрождения XV–XVI веков. Если считать, что главное в Возрождении — это светский антицерковный дух, или что главное — это обращение за образцами к «классической» эпохе античности, к демосфеновским Афинам и цизероновскому Риму, — тогда, конечно, о «каролингском возрождении» говорить невозможно: «дух» латинской культуры каролингской эпохи оставался религиозным, церковным во всех своих основаниях, образцом же и идеалом для нее служили не республики цветущей античности, а христианская империя Константина. Однако легко заметить, что в самом слове, в самом термине «возрождение» никаких указаний ни на антицерковный дух, ни на «классичность» образцов не содержится. «Возрождение» означает просто резкий культурный подъем после долгого (относительно) культурного упадка, подъем, при котором культура обращается в поисках образцов не к непосредственно предшествующей эпохе, а через ее голову к более отдаленным. Именно в таком расширительном смысле термин «возрождение» употребляется современной наукой, когда она говорит о «китайском возрождении», «мусульманском возрождении» и пр. В таком расширительном смысле этот термин с полным правом применим и к средневековой латинской литературе IX–X веков.

Действительно, мы видели, в каком глубоком культурном упадке находилась Европа — особенно Центральная Европа — в VII–VIII веках. Ярче всего говорит об этом тот факт, что за полтора столетия Италия и Галлия, две самые богатые и развитые области Европы, не произвели ни одного писателя — ни прозаика, ни поэта. Культурные очаги теплились только на окраинах Европы — в Испании, Ирландии, Англии, — лишённые всякой связи друг с другом, то слабо вспыхивая, то надолго замирая. Для наступления нового культурного подъема прежде всего необходимо было воссоединить эти скудные остатки античной и христианской культуры в общем центре. Этим центром стала франкская держава Каролингов, прежде всего — двор Карла Великого. Далее необходимо было, чтобы эта ученая, книжная культура вступила во взаимодействие с народной германской и романской культурой, обогатила их и обогатилась ими. Эта встреча и взаимопроникновение двух культур произошли в монастырях и монастырских школах, рассеявшихся по владениям преэмиников Карла Великого. И, наконец, после того как росток древней культуры был привит к крепкому стволу новой культуры, можно было со временем ожидать первых плодов. Это время наступило в X веке, в пору правления немецких Оттонов, и с этих пор культурное развитие Европы более не прерывалось: переход от X к XI веку, от XI к XII веку и т. д. плавен, постепенен и ни разу не прерывается ни такими долгими культурными застоями, как между VI и IX веками, ни даже такими краткими, как между IX и X веками.

Таковы три этапа культурного возрождения Европы по минованию «темных веков»: время Карла Великого, время Каролингов, время Оттонов. Каждый из этих этапов обладает своими особенностями и требует отдельного рассмотрения.

1

Предпосылкой культурного воссоединения Европы было политическое воссоединение Европы франкскими королями. Укрепление и расширение франкской державы в VIII веке было ответом западноевропейской романо-германской цивилизации на двойной натиск — арабов с юга, из-за Пиренеев, славян и аваров с востока, из-за Эльбы и Дуная. В этой борьбе на два фронта романо-германская Европа впервые сплотилась вокруг нового для нее центра — не средиземноморского, как раньше, а континентального, лежащего в северноевропейской равнине, где было ядро государства франков. Дед Карла Великого Карл Мартел (у власти в 714–741 годах) отразил в семидневной битве 732 года при Пуатье нашествие арабов. Отец Карла Великого Пипин Короткий (у власти в 741–768 годах, король с 754 года), поддерживая

деятельность Бонифация, готовился к наступлению на восток и обеспечивал себе союз с папским престолом. Наконец, сам Карл Великий (768–814 годы) предпринял наступление по всем границам, присоединил к франкскому королевству Италию и Баварию, покорил Саксонию, разбил аваров, отодвинул испанскую границу до Эбро, увеличив территорию франкской державы почти вдвое и объединив в ней, по существу, всю христианскую Европу, кроме лишь Англии и Астурии. Это воссоединение западного христианства было торжественно санкционировано папским престолом, когда на рождество 800 года, накануне нового века, папа Лев III в Риме возложил на Карла Великого императорскую корону.

Карл Великий унаследовал от Карла Мартела отлично действующую систему военной организации, а от Пипина Короткого — систему духовной организации франкского общества. Ему оставалось только совершенствовать эту государственную машину и пользоваться ей, чтобы придать возможное единство своей разношерстной державе. Карл воевал всю жизнь, но мирные дела всегда были ему по сердцу, и его указы-капитулярии обнаруживают в нем деятельного и рачительного хозяина своего государства. Единство державы он, по-видимому, понимал так, как только и можно было понимать в ту пору натурального хозяйства: как совокупность сельских областей, экономически замкнутых, живущих местными законами и обычаями, а политически объединенных, во-первых, сетью императорских графов-наместников и разъездных ревизоров, а во-вторых, сетью приходов, епископств и архиепископств. Из этих двух опор государственного единства и благосостояния для Карла Великого, бесспорно, была важнее вторая — церковь. Только духовенство было грамотно, хранило кое-какие навыки управления, хозяйствования и суда; только духовенство в пору местной раздробленности и замкнутости поддерживало постоянную, хотя и слабую, связь между епископскими кафедрами, архиепископскими метрополиями и папским Римом; только духовенство могло свободно пополнять свои ряды самыми способными людьми из самых широких народных масс — очень многие даже среди высших церковных деятелей были выходцами из низов, для которых светская карьера выше их сословия была бы немислима. Кадры церковной администрации были в распоряжении Карла готовыми, кадры светской администрации еще необходимо было создать. Карл должен был приложить все усилия, чтобы как можно плодотворнее использовать первые и как можно скорее приобрести вторые. Этим определилось все направление его культурной политики.

Для того чтобы церковь могла играть свою роль объединяющей силы в разноплеменной империи, нужно было, чтобы ее средства и действия во всех концах державы были едины. Карл организует при дворе комиссию, чтобы очистить канонический текст Библии от накопившихся при переписке ошибок и распространить его по всей стране; довершает реформу местных

литургических обрядов по единому римскому образцу, начатую еще Пипином Коротким; выписывает из Рима авторитетный текст устава св. Бенедикта для реорганизации всех монастырей; заказывает Павлу Дякону образцовый гомилярый—сборник проповедей на все дни, откуда могли бы черпать все священники. Но мало было обеспечить церковь книгами—нужно было обеспечить церковь людьми, способными пользоваться этими книгами. Отсюда забота Карла о просвещении духовенства. Наиболее известный акт этой заботы—так называемый «капитулярый о науках» (около 787 года), предписывавший при каждом монастыре и при каждой епископской кафедре открывать школы для всех, кто способен учиться («...как соблюдение монастырских уставов хранит чистоту нравов, так образование устроит и украшает слова речи; поэтому те, кои стремятся угодить богу праведной жизнью, пусть не пренебрегают угождать ему также и правильной речью... ибо хотя лучше правильно поступать, чем правильно знать, но сначала нужно знать, а потом поступать»). Это означало, что обучение молодых монахов и клириков переставало быть одной из тысячи забот хлопотливого епископа или аббата и становилось заботой специального учителя, который мог образовать учеников больше и лучше. Сеть таких школ быстро раскинулась по всем епархиям франкской державы; были даже сделаны попытки привлечь в них мирян («чтобы каждый посылал детей своих в школу, которую дети должны прилежно посещать, пока они достойно не обучатся»,—говорится в капитулярии 802 года), но, конечно, это в значительной мере осталось благим пожеланием.

Центром этой сети школ и питомником той скороспелой культурной элиты, в которой так нуждалась франкская держава, была придворная школа в столице Карла—в Ахене. Придворная школа для детей короля и высших вельмож, будущих государственных сановников, существовала у франков и раньше, но при Меровингах она служила главным образом воспитанию воинских доблестей; при Карле Великом она стала служить обучению латинскому языку, классикам, Библии и семи благородным наукам. Учителями здесь были лучшие ученые, съехавшиеся со всех концов христианской Европы к новому ее политическому и духовному средоточию, учениками были франки из лучших родов, предназначенные Карлом для политической карьеры. Здесь, на стыке двора и школы, среди ученых, учащихся, любителей и покровителей учености и сложилось то своеобразное общество, за которым в науке закрепилось название «академии Карла Великого». Это была как бы сразу академия наук, министерство просвещения и дружеский кружок: здесь обсуждались серьезные богословские вопросы, читались лекции, толковались авторы и устраивались пиры, где застольники сочиняли изысканные комплиментарные стихи и развлекались решением замысловатых вопросов и загадок. Членами ее были сам Карл со своим многочисленным

семейством, виднейшие духовные и светские сановники, учителя и лучшие ученики придворной школы. Каждый член академии принимал античный или библейский псевдоним (это было полузабытой традицией галльских и британских ученых обществ — вспомним «Вергилия Марона», грамматика из Тулузы). Карл звался «Давид», его двоюродный брат Адельхард, аббат Корбийский — «Августин», его дочери и придворные дамы — «Луция», «Евлалия», «Математика», Алкуин был «Флакк», Муадвин — «Назон», Ангильберт — «Гомер», Эйнхард — «Веселиил», среди придворных имелись «Неемия», «Сулпиций», «Гирсис» и «Тимофей».

Академия Карла Великого стала началом большого культурного движения; к ней сходятся нити всех традиций европейской латинской культуры почти за два столетия. Традиции передавались от учителей к ученикам, и развитие их может быть прослежено поколение за поколением.

У начала каролингского возрождения стоит поколение иноземных учителей — тех, кто принес во франкскую столицу остатки знаний, размеченные предшествующей эпохой по окраинам Европы: из Италии, Испании, Ирландии, Англии.

Италия была первой страной, завоеванной Карлом и поразившей его своей непривычной культурой. Уровень этой культуры не следует преувеличивать: школьное образование и здесь было в упадке, Рим (по гиперболическим выражениям поэтов) лежал в развалинах, а стихотворное послание, которое Карл получил от папы в 774 году, ужасало метрической безграмотностью. Но в итальянских монастырях пылились книги, и эти книги были необходимы для культурного дела Карла. За Альпы потянулись из Италии те рукописи, которым суждено было стать архетипами большинства латинских текстов, дошедших до нас: сперва богослужебные книги и учебники грамматики, потом сочинения отцов церкви, потом античные классики. А вслед за книгами направились на север и люди — те немногие, которые имели знания и чувствовали, что при франкском дворе эти знания нужнее, чем в Италии. Таких людей было трое: Петр, диакон Пизанский, грамматик, ставший первым возродителем научных занятий в придворной школе и посвятивший свой учебник грамматики самому Карлу Великому; Павлин, патриарх аквилейский, один из виднейших богословов своего поколения, первый советник Карла по вопросам церковной политики; и самый талантливый из них — Павел Диакон, бывший придворный учитель лангобардского короля, автор исторического учебника и искусных стихотворений, впоследствии прославившийся своей «Историей лангобардов». Их пребывание при франкском дворе продолжалось не более десяти лет: к началу 790-х годов они все уже вернулись в Италию: Павлин в свою Аквилею, Павел Диакон в Монтекассино, дряхлый Петр — тоже в какой-то монастырь. Но результаты их деятельности были крайне важны: именно они заложили основу всего последующего

культурного возрождения, и 780-е годы по праву считаются «итальянским периодом» в истории придворной академии.

За «итальянским периодом» последовал «англосаксонский» — 790-е годы: новым главой придворной школы и придворной академии стал англосакс Алкуин (впрочем, и с ним Карл Великий познакомился в Италии). На долю Алкуина выпало упорядочение и организация того образовательного материала, который накопился в придворной школе при итальянцах: Алкуину принадлежала выработка связной программы обучения в придворной школе (латынь — семь благородных наук — богословие), составление учебников по основным предметам (учебники эти не выходили из употребления несколько столетий), выработка методики преподавания. Алкуин был талантливый педагог, среди его учебников можно даже легко различить те, которые написаны для начинающих, и те, которые предназначены для уже подготовленных учеников; а диалогическая форма его учебных трактатов представляется не только литературной условностью, но и отголоском подлинной классной практики. Образцом для его образовательной системы послужила, по-видимому, его родная Йоркская школа. Алкуин остался в памяти потомства центральной фигурой духовной жизни своего времени. «Он говорил, жил и писал в полную меру своего достоинства, а достоинством он превосходил всех, кроме разве что могущественнейших королей», — восторженно писал о нем столетие спустя Ноткер Заика.

Ирландия, третий культурный центр предшествующей эпохи, тоже внесла свой вклад в труды первого поколения Возрождения. Ирландия к концу VIII века стала жертвой всё усиливавшихся норманнских набегов; спасаясь от них, ирландские ученые вновь, как когда-то при Колумбани, потянулись на континент. Красочной легендой о том, как два ученых ирландца высадились на франкском берегу и обратились к народу с возгласом: «Кто хочет мудрости, пусть придет и возьмет ее у нас — мы ее держим на продажу!» — начинаются полусказочные санкт-галленские «Деяния Карла Великого». Ирландские эмигранты дали каролингскому возрождению знакомство с элементами греческого языка, вкус к изысканно-темному стилю и расширенные познания по географии и астрономии.

Виднейшими фигурами этой ученой эмиграции были три человека: Дунгал, подписывавший свои стихотворные послания к Карлу «ирландский изгнанник», дававший ему консультации по научным вопросам и в богословских спорах аргументировавший цитатами не только из отцов церкви, но и из христианских поэтов; Клемент, сменивший (по-видимому) Алкуина во главе придворной школы и написавший грамматику, вытеснившую грамматику Петра Пизанского; Дикуйл, автор географического трактата, в котором к толковым сведениям о провинциях Римской империи были добавлены сведения об Ирландии, Фарерах и Исландии, где летние ночи так светлы, «что

можно вшей обирать с рубашки». Жизнь ирландских эмигрантов была нелегка, всякий был готов посмеяться над их бездомностью и надменностью (например, Теодульф в «Послании королю»), а они отвечали соперникам попреками за невежество и дурной латинский стиль.

Наконец, готская Испания тоже дала каролингскому возрождению нескольких видных его представителей; но все они были не столько учеными и учителями, сколько практиками — администраторами, дипломатами, полемистами. Это лионский архиепископ Агобард, один из просвещеннейших людей своего времени, осуждавший поклонение иконам и обычай «суда божьего», отрицавший ведовство и колдовство; это Клавдий, епископ Туринский, мечтавший возродить чистоту раннего христианства и ради этого начавший такое гонение на иконы, которое всколыхнуло на несколько лет всю франкскую церковь. Самым крупным и талантливым деятелем в этой плеяде был орлеанский епископ Теодульф, администратор, дипломат, моралист и покровитель искусств; как кажется, он даже не был членом академии (мы не знаем его академического прозвища), но он был поэтом, и притом одним из самых талантливых в своем поколении; его стихи больше, чем чьи-нибудь, позволяют нам заглянуть в жизнь двора и империи Карла.

Плоды деятельности этих разноплеменных культурных сил, собранных к ахенскому двору, явились скоро. Уже приблизительно к 800 году на сцену выступает второе поколение каролингского возрождения — германские выученики иноземных учителей. Это те новые люди, на которых хотел опереться Карл в своей государственной политике; среди них не только духовные, но и светские лица, не только люди неведомого происхождения, но и представители знатных родов, до того времени обычно обходившиеся без грамотности.

Таков Эйнхард, приближенный Карла, автор его жизнеописания, оставшегося лучшим для своего времени образцом владения латинским слогом. Таков Ангильберт, морганатический зять Карла, поэт, носивший в академии прозвище «Гомер». Таков Муадвин (или Модоин), ученик и друг Теодульфа, подражавший ему в пышном жанре стихотворных панегириков. Таков Амаларий Трирский, ученик Алкуина, ездивший от Карла послом в Константинополь, первый латинский богослов, занявшийся аллегорическим толкованием литургических обрядов. Таков Фридугис, другой ученик Алкуина, автор сочинения «О субстанции небытия и мрака» — редкой для своего времени попытки упражнения мысли вне круга традиционных патристических вопросов. Таков Смарагд Сент-Михиельский, автор 15 книг комментария к грамматике Доната, единственный человек во франкском государстве, прямо побуждавший императора (Людовика Благочестивого, сына Карла) отменить в своих владениях рабство. Таковы, наконец, два «просветителя Германии» — Храбан Мавр, аббат Фульдский, и Гримальд, аббат Санкт-Галленский, трудами которых руководимые ими монастыри стали крупнейшими центрами латинской

культуры за Рейном, в недавно лишь приобщенных к христианской цивилизации восточногерманских областях.

Именно Муадвину, поэту этого поколения, принадлежат программные строки, давшие ученым основание для термина «каролингское возрождение»:

К древним обычаям вновь возвращаются нравы людские:

Снова Рим золотой, обновясь, возродился для мира...

Это было выражением мысли, общей всем современникам; уже у Алкуина звучит она в таком виде: «Не новые ли Афины сотворились во франкской земле, только многожды блистательнейшие, ибо они, прославленные учительством господина Христа, превосходят всю премудрость академических упражнений». Возрождение античной культуры на новой, христианской основе было общим идеалом современников Карла Великого: античные поэты должны были дать создаваемой литературе блеск формы, христианство должно было дать ей истинность содержания, сочетание того и другого было признаком, отличающим истинно культурного, «вежественного» мужа от презираемого им носителя «грубости» (*rusticitas*), причем под «грубостью» одинаково понималась и простодушная неграмотность германских мужиков, и изысканная «безнравственность» Вергилия и Овидия. Царство божие на земле, объединенное христовой верой и латинским языком, языком церкви; во главе его — вселенский император, Карл-Давид, избранник божий, в чьих руках — и светская, и духовная власть; вокруг него — его сподвижники и певцы, утверждающие его власть и славу по всему латинскому миру франкским мечом, христианской мыслью и античным словом, — таков был идеал двора и академии Карла.

Античные, языческие, и новые, христианские, элементы сочетались в этом идеале с удивительной простотой. Это объяснялось только тем низким культурным уровнем, с которого приходилось начинать каролингскому возрождению. «Возрождать» приходилось прежде всего те начатки знаний, которые были необходимыми и общими для какой бы то ни было латинской культуры, языческой или христианской — владение языком, стилем, стихом, основы семи наук. Здесь и Библия, и Вергилий были одинаково необходимы и полезны. Но как только эта ступень была пройдена, противоречие между библейским и вергилианским духовным идеалом начало ощущаться и вселять смятение в души тех, кто дорос до этого. Уже об Алкуине его биограф сообщает: «В юности читал оный муж Господень книги древних философов и лживые рассказы Вергилия, но после не хотел их ни сам читать, ни позволять ученикам своим, говоря: „Достаточно с вас божественных поэтов, нет вам нужды пятнать себя сладострастным краснобайством Вергилиевой речи!“» А прошло лишь десять лет после смерти Алкуина, и разрыв между светской и духовной культурой стал повсеместным.

В 814 году Карла Великого сменил на императорском престоле его сын, Людовик Благочестивый (814–840 годы). Он не был бездарен, он не был обскурант, но он уже не опережал свою эпоху, как его отец, а шел в ногу с ней. То объединение духовной и светской власти, к которому стремился Карл Великий, было для него непосильно. Его правление было решающим шагом к децентрализации империи и сакрализации культуры. «Он так много заботился о возвышении церкви, что по праву должен бы быть назван не королем, а иереем», — говорит его биограф. Его духовным советником был Бенедикт Анианский, аквитанский гот, аскет, собственноручно пахавший и жавший, реформатор бенедиктинского устава, увеличивший для монахов занятия физическим трудом и уменьшивший занятия трудом умственным. По приходе к власти Людовик первым делом положил конец светскому духу и привольной жизни ахенского двора, распорядившись выслать всех любовниц своего отца и любовников своих сестер. Придворная академия быстро захирела: Алкуин и Ангильберт были в могиле, Теодульф — в изгнании, Эйнхард удалился в германский монастырь. Монастырским школам было предписано не принимать учеников из мирян, а обучать только послушников, готовящихся в монахи. Вергилианский идеал был резко отстранен идеалом Библии и отцов церкви.

Конечно, светские традиции предшествующего периода пресеклись не сразу. При сыне Людовика, Пипине Аквитанском, жил и писал о войнах и победах талантливый поэт Эрмольд Нигелл, многим предвещающий французский героический эпос; но и он, по-видимому, умер в изгнании. При самом дворе Людовика покровительницей наук и искусств выступала его вторая жена, императрица Юдифь, мать принца Карла (будущего Карла Лысого). Воспитателем принца был приглашен Валахфрид Страбон, лучший поэт своего поколения, в изысканных эклогах прославлявший своих высоких покровителей по лучшим традициям панегирической поэзии времен Карла Великого; но тот же Валахфрид Страбон писал стихи на случаи монастырской жизни, перелагал в стихи загробное видение, пользовался большим авторитетом как богослов, — это был писатель на стыке двух эпох, придворной культуры и монастырской культуры. Каролингский двор переставал быть культурным центром — латинская культура опять уходила в монастыри.

Центральная фигура этого времени, знаменующая своей деятельностью это начало новой полосы в культурной истории Европы, — Храбан Мавр (784–856 годы), ученик Алкуина, аббат Фульды и потом майнцский архиепископ. В своем поколении он был тем же, чем Алкуин в своем, — всеобщим наставником, учителем, просветителем; особенно важна была его работа для культурного подъема зарейнской Германии, еще полуварварской. Он писал и стихи, но без дарования; он никогда не был при дворе, а работал в своем монастыре; он никогда не увлекался изящной словесностью, и подавляющее большинство его работ — это пространные комментарии библейских книг,

представляющие собой целые антологии выписок из отцов церкви, очень полезные для своего бескнижного времени и очень малоинтересные сейчас. Его представление о культурном идеале изложено в трактате «О воспитании клириков» (любопытная средневековая параллель квинтилиановскому «О воспитании оратора»), тоже представляющем собой преимущественно компиляцию из отцов церкви. Но основная мысль его принадлежит самому Храбану: науки делятся на две части, «божественные» (богословие) и «человеческие» (все остальные); первые для человека необходимы, вторые отчасти вредны (мантика, астрология), отчасти полезны (семь благородных наук); знания, содержащиеся в книгах языческих писателей, усваивать можно, но лишь потому, что они представляют собой случайно попавшие в их книги осколки истинной божественной мудрости— так Моисей, выводя евреев из Египта, забирал с собою добро египтян, полученное ими от евреев же (это августиновское сравнение широко будет использоваться и позднейшими писателями в спорах об античном наследстве). Насколько подчиненное место в этой картине занимает забота о художественных достоинствах античной и современной словесности, видно с первого взгляда. Разница этой концепции с концепцией «академического» поколения ясна.

С Храбана Мавра начинается новый период каролингского возрождения— период монастырский.

2

Карл Великий не любил монастырей. Для его централизаторской политики они были камнями преткновения—неподведомственные епископальной сети, тесно связанные с местной сепаратистски настроенной знатью, укрывающие в своих стенах сотни сильных мужчин от военной повинности. Тем не менее уже при Карле завязалась связь двора с крупнейшими монастырями страны: в Корби стал аббатом Адельхард, двоюродный брат Карла, в Шелле—Гисла, его сестра, в Туре—Алкуин, в Сен-Рикье—Ангильберт. В следующем поколении эта сеть межмонастырских культурных связей раскинулась еще шире— в Фульде занял пост Храбан Мавр, в Санкт-Галлене—Гримальд, в германской части империи возвысились Лорш, Рейхенау, Корвей, в романской—Ферьер, Оксерр, Турнэ, Флёри и епископский город Реймс. Поэтому, когда при Людовике Благочестивом была разогнана придворная академия, культуре уже было куда отступать.

В 840 году умер Людовик Благочестивый, в 841 году три его сына сошлись в братоубийственной битве при Фонтанете, в 843 году они поделили между собой империю в Вердене; началась долгая история каролингских

междоусобиц, разделов и переделов. Смуту усиливали разорительные набеги внешних народов — норманнов с северного побережья, арабов со средиземноморского. Политическое единство империи кончилось. Церковное единство сохранилось, но и в нем произошли сдвиги: усилилась местная власть епископов, ослабела централизующая власть архиепископов, возвысился верховный авторитет римского папы (эти изменения были санкционированы так называемыми «лжеисидоровскими декреталями» — составленной в середине IX века серией поддельных документов от имени древнейших римских пап). Последним человеком, заботившимся о поддержании единства франкской империи, был Хинкмар, реймский архиепископ 845–882 годов, первый советник Карла Лысого, автор 66 книг, отличавшийся не столько глубиной мысли, сколько твердостью характера и неиссякаемой энергией. После его смерти глубокий развал западнофранкского государства стал очевиден, а еще поколение спустя, когда с востока на империю ударило новое нашествие — венгров, упадок этот распространился и на восточнофранкское государство.

В эти 60–70 бурных лет — вплоть до первых десятилетий X века — монастыри вновь оказались самым жизнеспособным социальным организмом Западной Европы. Они были хорошо укреплены и считались обителями божьими, поэтому погромы и грабежи коснулись их меньше, чем замков и городов. Они были богаты, ибо приток пожертвований им не прекращался, земля их не дробилась и сельское хозяйство (которому монахи учились по Варрону и Колумелле) было поставлено лучше. Они были независимы от внешней власти — если не по имени, то фактически — и безукоризненно организованы внутренне: сплоченная масса монахов по уставу безоговорочно должна была повиноваться аббату. Наконец, они были теснее всего связаны с народной жизнью: монашеские кадры по-прежнему в основном рекрутировались из низов; и в хозяйстве, и в управлении имениями, и в церкви, и в школе монашество соприкасалось с крестьянством; оно облекало для него религиозные темы в народный язык и перенимало у него темы германского и романского фольклора для переложения на латинский язык. Монастыри унаследовали от академии вкус к книжной культуре, но не унаследовали презрения к «мужицкой грубости» народной культуры; от скрещения этих двух начал в монастырских кельях обновилась латинская и родилась немецкая и французская литература.

Точкой наиболее тесного соприкосновения монастырской культуры с народной была школа. По большей части монастырская школа воспитывала только будущих монахов, но местами, несмотря на запрет Людовика Благочестивого, существовали и школы для детей мирян. Связь между монашескими учениками и их мирскими родственниками порывалась не сразу: сохранились любопытные записочки на латинском языке от мальчика-школьника на волю — «Батюшке и матушке своим (имярек), барашек, ими вздоенный,

добросыновнее бляньнице свое посылает...» и затем просьбы о разных мелочах. Латинский язык в стенах школы был единственно дозволенным: санкт-галленский аббат Соломон требовал, чтобы младшие ученики приветствовали его латинской прозой, средние — ритмическими стихами (более простыми, сочиняемыми на слух), старшие — метрическими стихами (более сложными, сочиняемыми по книгам).

Школьная программа оставалась Алкуинова: сперва начатки чтения, счёта и церковного пения, потом грамматика с чтением доступных авторов и с элементами остальных «благородных наук», потом — для немногих способных — индивидуальные занятия по богословию. Учебниками служили сочинения Алкуина, Беда, Исидора Севильского, Боэтия, Марциана Капеллы, Доната; их комментировали, на полях их выписывали германский перевод латинских слов (так называемые глоссы). Упражнениями были вопросы и ответы, «диктамены» для совершенствования латинского стиля, выписки, толкования и пр. Использование античных авторов в монастырских школах почти не вызывало возражений; первым чтением были «Дистихи Катона» и, быть может, басни Авиана, затем сосредоточивались главным образом на Вергилии. Перед греческим языком благоговели, но вчуже: из него знали только азбуку, отдельные слова из глоссариев, отдельные фразы из символа веры, молитв и литургии, но не более того.

Более основательные знания были только у ирландцев и у жителей южной Италии; единственными писателями этого времени, способными переводить с греческого, были ирландский философ Иоанн Эриугена (о котором речь впереди) и итальянец Анастасий (ум. в 897 году), человек с бурной жизнью, смутьян, антипапа, отлученный одно время от церкви, а потом ставший папским библиотекарем, послом в Константинополь и присяжным переводчиком греческих житий.

Школа требовала книг. Мастерские для переписки книг имелись в каждом хорошем монастыре. Рукописи, вывезенные при Карле Великом из Италии, рассеялись по монастырям, бережно переписывались, с надежными людьми перевозились с места на место, выменивались. Подавляющее большинство рукописей, по которым издаются теперь античные авторы, относится именно к IX веку и было написано именно в этих монастырских скрипториях. Эти рукописи были еще разрознены: так, Цицерон был известен почти весь, за исключением трех-четырех трактатов, но в каждом монастыре было не более двух-трех его сочинений; единый общеевропейский фонд латинских классиков сложился лишь позднее, к XII веку, когда кое-что уже успело вновь затеряться. Однако уже IX век дал такую фигуру, как Серват Луп, аббат Ферьерский (около 805–862 годов), ученик Храбана Мавра, неутомимый собиратель рукописей, знаток самых малоизвестных латинских классиков, лучший стилист своего времени, организовавший у себя в монастыре не только

переписку, но и сверку текстов, опередив своими критическими приемами не только современников, но и дальних потомков. Письма Сервата Лупа напоминают письма итальянских гуманистов: он советуется о толковании трудных мест, просит одни рукописи и обещает другие, заботится хранить эти книгообмены в тайне, обсуждает орфографию и просодию; ему принадлежит фраза, немислимая ни у какого другого человека его времени: «Мудрость, по-моему, заслуживает достижения уже ради ее самой». Те, кто не имел возможности обеспечить себя и свой монастырь такой библиотекой, как у Лупа, обзаводились сборниками эксцерптов, выписок, преимущественно философского и моралистического содержания; подчас такие выписки охватывали очень широкий круг авторов (конечно, часто из вторых рук). Сохранилось даже любопытное произведение с попыткой придать такому сборнику художественную форму — письмо Эрменриха Эльвангенского (тоже ученика Храбана Мавра) Гримальду Санкт-Галленскому (около 854 года): оно начинается похвалой учености Гримальда, затем говорится о пользе философии, о частях диалектики, о долгих и кратких гласных, о буквах и спряжениях, о жизни созерцательной и деятельной, о Вергилии, которого он видел во сне, положив под голову «Энеиду», о пользе древних поэтов для понимания Писания, опять об учености Санкт-галленцев, о прилагаемом при письме житии Гермольфа Лангрского, потом следуют выписки из стихов Теодульфа, Муадвина и Авсония, рассуждение в прозе и стихах о Троице, выписки по географии с большими стихотворными цитатами и, наконец, шуточный рассказ о том, как некий «новый Гомер», объевшись полбенного хлеба, увидел во сне самого Орка, коловшего вшей трезубцем, но только рассмеялся, перекрестился, выбросил из головы мифологию и решил взяться за воспевание св. Галла, основателя Санкт-Галлена.

Однако главной заботой монастырских писателей была, конечно, не филология, а богословие. Комментарии к Священному Писанию составлялись повсюду, потому что без них невозможно было изучать Библию в школе. Они тоже представляли собой не что иное, как собрание эксцерптов из отцов церкви и позднейших толкователей — Беды, Алкуина, Храбана; они тоже сплошь и рядом переписывались из комментария в комментарий без обращения к первоисточникам. Исторические и реальные пояснения занимали здесь самое скромное место; главное внимание уделялось толкованиям аллегорическим, которые подразделялись на собственно аллегорические («Иерусалим есть образ церкви христовой»), анагогические («Иерусалим есть образ царствия небесного») и тропологические («Иерусалим есть образ души страждущей»). Храбан Мавр оставил целый словарь библейских аллегорий: так, «вода» есть Святой Дух, Христос, высшая мудрость, многоглаголание, преходящая жажда, крещение, тайная речь пророков и т. д., всего 28 значений, каждое проиллюстрированное библейским текстом.

Точно так же, как экзегетическая литература, строилась на цитатах и полемическая литература. Феликс Урхельский, инакомыслящий богослов при Карле Великом, признал себя побежденным в споре с Алкуином потому, что Алкуин привел такие цитаты из отцов церкви, которых Феликс не знал. Богословские споры этих лет происходили главным образом из-за того, что из сочинений отцов церкви извлекались противоречащие друг другу суждения (таких было много) и примирались у разных толкователей разными способами. Таковы были два самых беспокойных спора этого времени: о причащении (истинно или только символически превращается хлеб и вино в плоть и кровь Христову?) и о предопределении (божья воля или человеческая воля предопределяет спасение души или ее погибель?). Особенно бурным был второй спор. Его начал Годескальк, дерзкий ученик Храбана, выдвинув на обсуждение несколько высказываний Августина (которые обычно замалчивались), позволявших думать, что бог предопределяет людей не только к спасению, но и к вечной гибели. Хинкмар, блюститель ортодоксии, поручил написать опровержение ученому ирландцу Иоанну Эриугене. Тот написал, что предопределение ко злу невозможно, ибо зло есть небытие (отсутствие добра), и даже загробный огонь не есть зло — в нем обитают равно и праведники, и грешники, но первым он сладок, а вторым мучителен (как солнечный свет для здоровых и для больных глаз); таким образом, не бог, а грех сам себе служит наказанием. Такая диалектика была совершенно непривычна для ученой Европы; богословы бросились спорить уже не с Годескальком, а с Эриугеной, обвиняя его в том, что он подменяет богословие философией, а доводы святых отцов — софистикой; с трудом Хинкмару удалось положить спору конец компромиссом, похожим на игру слов: не человек предопределен к наказанию, а наказание предопределено человеку.

Иоанн Скотт Эриугена был единственным богословом своего времени, заслуживающим имени философа. Он один среди современников позволил себе повторить сентенцию Августина, что истинная философия и религия — одно и то же, и сказать, что разум может иметь силу без авторитета, а авторитет без разума не может. Среди современников он чувствовал себя белой вороной; Карл Лысый держал его при своем дворе не столько как учителя, сколько как диковинку учености. Греческая культура была ему ближе, чем латинская; неоплатоническое христианство сочинений Дионисия Ареопагита, которые он переводил на латинский язык, было его духовной пищей; по неоплатоническому образцу он построил свою философскую систему четвероякой природы, в которой не было места троице, а творец был един с творением. Если бы его сочинения были поняты современниками, он погиб бы как еретик; но они остались непонятны и только в XIII веке были запрещены как подспорье альбигойства.

Ближе к художественной прозе стояли два других жанра монастырской литературы — жития и видения. Жития сочинялись в IX веке во множестве;

можно сказать, что это было массовое чтение своего времени, привлекавшее читателей нравственной поучительностью, описанием дальних странствий, опасностей и спасений, благочестивых чудес, подчас даже юмором; все они сочинялись по одному образцу, рисовали один и тот же облик идеального христианина, целые эпизоды из разных житий совпадают дословно во всем, кроме имен, но это только содействовало их доходчивости. Язык их прост, близок к разговорному и далек от литературной правильности, хотя ученые писатели и старались время от времени пересказывать бесхитростные старые жития изысканным новомодным слогом и даже перелagать их в стихи. Интересно, что аскетические мотивы в житиях IX века подчеркнуты слабо и учащаются только к X веку; зато приметы местного патриотизма и политики выступают в них нередко, так что жития св. Бонифация или св. Галла то и дело отражают столкновения основанных ими аббатств Фульды или Санкт-Галлена с соседними владетелями. Еще более интенсивно проникает современность в жанр видений. В видениях описывались для назидания верующих картины загробных кар и загробного блаженства, явившиеся во сне или в галлюцинации тому или иному ясновидцу; первые в латинской литературе образцы этого жанра мы видели в «Диалогах» Григория Великого, с IX века видения выделяются из богословских трактатов, житий и хроник в самостоятельные произведения («Видение Веттина» Хейтона), а потом объединяются в целые сборники. Злободневные мотивы составляют почти неизменную часть видений: ясновидец или встречает в раю и в аду своих недавно скончавшихся современников, или слышит от небесных сил прямые указания возвестить ближним то-то и то-то («Вот Господь соизволил услышать меня и, сойдя с неба, сиянием своим озарил меня... и сказал: „Прокляни тот день, когда Буркхард будет епископом!“»). Эта тенденция оказалась очень живучей и дошла до завершающего и самого знаменитого из «видений» средневековой литературы — до «Божественной комедии» Данте.

Переходя от прозы к поэзии, мы находим в монастырской литературе целый ряд интенсивно разрабатываемых жанров. Во-первых, это панегирическое послание, обращенное к духовным или светским властям; по сравнению с эпохой Карла Великого, когда в придворной поэзии панегирик был едва ли не господствующим жанром, теперь он отступает на второй план, но все же сохраняет значение. Во-вторых, это дружеское послание, обращенное не к высшему, а к равному; лучшие образцы этого жанра оставил тот же Валахфрид Страбон; здесь изливался тот лиризм, который для монаха не мог найти выхода в любовной поэзии. В-третьих, это поучительные послания и медитации в стихах преимущественно на богословские темы, иногда разрастающиеся до огромных поэм («Об умеренности» Милона). В-четвертых, это описательная поэзия, которая то и дело перекидывается с духовных предметов на светские: описание монастыря переходит в описание прекрасной местности,

среди которой он стоит, а описание церковных праздников каждого месяца дополняется описанием картин природы и сельских работ. В-пятых, это «надписи» на различных церковных строениях, предметах утвари, книгах, подписи к картинам, эпитафии и пр. — прямое развитие жанра античной эпиграммы. В-шестых, наконец, это бесчисленные гимны и стихотворные молитвы, которые писались и пелись на протяжении всего средневековья. Все эти жанры варьировались на самые разные лады; в частности, в большой моде была форма эклоги (следствие культа Вергилия) — любая тема могла быть развернута (подчас довольно насильственно) в стихотворный диалог. Стихи объединялись в циклы, циклы обрастали предисловиями, посвящениями, молитвами, заключительными надписями и пр., по возможности — в разных стихотворных размерах. Образцами стиля неизменно служили античные поэты (из языческих — преимущественно Вергилий, из христианских — Пруденций); из их стихов заимствовались слова, словесные обороты и даже целые полустушия. Поэты наперебой старались щегольнуть богатством стиля и для этого извлекали из глоссариев самые редкие и малопонятные слова, вставляли все грецизмы, какие знали, играли обилием синонимов, плеоназмами, гиперболическим нагромождением сравнений, эпитетов и пр. К началу X века дело дошло до того, что иным поэтам приходилось писать на полях комментарии к собственным стихам.

Стихотворная техника каролингской поэзии требует особых пояснений. Здесь приходится различать целых три системы стихосложения — метрическую («метры»), силлабо-тоническую («ритмы») и силлабическую («секвенции»).

Метрическое стихосложение было унаследовано средневековьем от классической античности. Оно основывалось на упорядоченном чередовании долгих и кратких слогов, независимых от ударения. В живом языке различие долготы и краткости слога давно утратилось, поэтому писать такие стихи приходилось не «по слуху», а «по науке». «Наука» состояла в том, что нужно было читать и заучивать во множестве стихи старых поэтов, запоминая, какие слова могут стоять на каком месте в стихе; был даже справочник, «Труд просодийный» Микона из Сен-Рикье (около 825 года), в котором были выписаны примеры на употребление в стихе нескольких сотен слов (такие просодические словари для обучающихся латинскому стихосложению составлялись и издавались вплоть до XIX века — обычно под заглавием «Gradus ad Parnassum»). Самыми употребительными размерами были, конечно, гексаметр и элегический дистих, лирические метры представлялись роскошью, употреблялись реже и осваивались постепенно. Алкуин пользовался (очень скупно) пятью лирическими размерами, поколение Храбана Мавра знало их уже одиннадцать, поколение Валахфрида Страбона — семнадцать, поколение Хейрика Оксеррского — двадцать, причем среди них были не только завещанные античностью, но и новоизобретенные. Это была вершина развития

средневековой латинской метрики: более она никогда не достигала такого богатства. В разработке метрических размеров каролингскими поэтами заметна та же погоня за диковинками, что и в разработке стиля: например, такой странный прием, как расчленение слова, «тмесис» («ЭР—сладкозвучные эти стихи написаны—МОЛЬДОМ»), у римских поэтов был редчайшим, а у средневековых поэтов встречается то и дело. Особенно бурное распространение получила в стихе так называемая «леонинская рифма»— созвучие конца первого полуступиши с концом второго: в стихах начала IX века такие строки еще единичны, а в начале X века такими строками уже пишутся целые поэмы. Примером леонин в переводе может служить «Послание о пяти чувствах» Ноткера Заики. На современный слух эти рифмы почти не ощущаются, но средневековые ими упивались. В метрическую поэзию мода на них перешла, конечно, из ритмической поэзии.

Ритмическим стихосложением в средние века называлось то, что теперь называется силлаботоникой: упорядоченное чередование ударных и безударных слогов, независимо от их долготы. Такие стихи могли писаться непосредственно на слух, без книжной выучки; поэтому ценились они меньше и считались уделом малообразованных писателей и читателей. Августин, одним из первых обратившийся к ритмам при сочинении гимнов, мотивировал это тем, что в них слова располагаются естественнее и, стало быть, понятнее простому народу. Основным образцом при разработке ритмических размеров были, конечно, старые метрические размеры: расположение ударных и безударных слогов копировало расположение долгот и краткостей в ямбическом диметре (излюбленный размер гимнов), хореическом тетраметре (излюбленный размер лиро-эпических произведений) и других метрах. Были и иные образцы: в ритмах ирландских поэтов чувствуется традиция национального кельтского силлабического семисложника, в ритмах готской графини Дуоды— влияние национального германского тонического стиха; наконец, были и интересные попытки создания оригинальных ритмических стихов и даже ритмических строф, подчас довольно сложных— например, в талантливых экспериментах Годескалька. Чем сложнее и непривычнее был ритм, тем больше он нуждался в дополнительном стиховом признаке, отмечающем границы стихотворных строк; таким признаком стала рифма, обычно очень простая, односложная, напоминающая ассонанс. В начале IX века рифма была лишь необязательным украшением в ритмических стихах, к началу X века стала непременной: безрифменные ритмы полностью выходят из употребления.

Секвенции были самой своеобразной стихотворной формой каролингской поэзии. Это была проза, положенная на музыку. В западной литургии между чтением апостольского послания и чтением Евангелия пелись стихи псалмов, завершаемые возгласом «аллилуйя». Последнее «а» в этом возгласе протягивалось в очень долгую и сложную колоратуру. С VIII века к этим

колоратурам стали сочиняться прозаические подтекстовки с прославлением бога, святых или соответственного праздника; сочинялись они с таким расчетом, чтобы каждой ноте напева соответствовал один слог текста. Так как в пении участвовали два полухория — взрослых монахов и мальчиков, — то на каждую колоратуру сочинялось два текста со строго одинаковым количеством слогов, одинаковым расположением главнейших пауз и стремлением к одинаковому расположению ударений. По существу это были строфа и антистрофа, составленные из силлабически (а не метрически, как в древности) тождественных стихов; художественный эффект достигался сочетанием свободы построения каждого стиха и строгости повторения его из строфы в антистрофу. Из цепочки таких строф и антистроф состояла вся секвенция; только начальная и заключительная строфы пелись обоими полухориями вместе. Эта стихотворно-музыкальная форма была разработана в IX веке в северной Франции и доведена до совершенства на исходе IX века в южной Германии санкт-галленской школой поэтов во главе с Ноткером Заикой.

Не следует, однако, думать, что монастырской религиозной тематикой исчерпывалась вся латинская поэзия IX века. Хотя и на подчиненном положении, но в ней существовала и светская традиция — отчасти унаследованная от придворной культуры предшествующего периода, отчасти развившаяся уже в новых исторических условиях.

Во-первых, это творчество Седулия Скотта, ирландского эмигранта, бездомного «ученого поэта», зарабатывавшего на жизнь талантливыми славословиями своим покровителям — люттихским епископам, королю Карлу Лысому (любившему подражать великому деду в роли мецената), а заодно и другим вельможам и королям. Он продолжает традицию придворной панегирической поэзии, но любопытным образом вульгаризирует ее применительно к своему положению: он просит о вознаграждении, жалуется на бедность, голод и жажду, угрожает покровителям не только чинной хвалой, но и веселыми шутками, — короче говоря, разрабатывает те мотивы и жанры, которые через два с лишним столетия станут центральными в поэзии вагантов. Что в этом Седулий не был одинок, показывают и некоторые другие стихотворения той же эпохи (например, анонимный «Стих об аббате Адаме»); но, понятным образом, сохранилось их лишь немного.

Во-вторых, это жанр исторических поэм, идущий от псевдо-Ангильберта и Эрмольда Нигелла и питаемый обильными заимствованиями из античного эпоса. К этому жанру относятся три произведения данной эпохи — «Деяния императора Карла Великого» неизвестного «саксонского пиита» (около 888 года) — пересказ летописи и Эйнхарда, с особым вниманием к покорению и крещению саксов; «Парижская война» Аббона Сен-Жерменского — описание осады Парижа норманнами в 885/886 годах и отражения их епископом Гозлином и графом Одоном, с добавлением нравственных наставлений для клира;

«Славословие Беренгарию, непобедимому кесарю», анонимная поэма в честь итальянского короля, в 915 году принявшего императорский венец. Художественными достоинствами эти поэмы не отличаются и потому в нашем сборнике не представлены; интересно лишь, что в них достигает предела ученая темнота словаря и вычурность стиля — особенно у Аббона Сен-Жерменского, набравшего для своей поэмы из глоссариев самые фантастические слова.

В-третьих, это злободневная дружинная и городская поэзия. Города северной Италии в IX веке еще сохраняли память об античной древности: должностные лица здесь назывались консулами и трибунами, люди помнили мифы, Комо гордился Плинием, Мантуя — Вергилием, латинский язык был понятен всем, и жители сочиняли патриотические стихи во славу собственного города и в поношение соседних (например, «Молитва о сохранении моденских стен»). Разумеется, такие стихи писались не метрами, а ритмами и их поэтический язык питался не античными реминисценциями, а общедоступными библеизмами. На том же приблизительно уровне стояли и латинские кантилены, сочинявшиеся грамотными дружинниками (например, плач о битве при Фонтанете, автор которого принадлежал к итальянской дружине императора Лотаря). Из этой среды выйдет в следующих столетиях поэзия министералов-шпильманов. Ниже этого социального уровня латинская поэзия уже не спускалась: дальше начиналось царство народных языков.

В-четвертых, это латинские переложения сюжетов германского фольклора — такой же естественный результат соприкосновения двух культур в монастырской школе, как и германские переложения христианских сюжетов («Муспилли», «Хелианд», евангельская поэма Отфрида Вейссенбургского), — появляющиеся впервые в том же IX веке. Во главе этой группы произведений стоит, бесспорно, «Вальтарий» — загадочная поэма загадочного автора, в которой содержание древнегерманских героических сказаний получает форму вергилианского эпоса, почти центона из вергилиевских стихов и полустий. К этой же группе принадлежат немногочисленные новеллы в стихах (вроде сказки о быке и трех братьях), здесь же следует вспомнить — переходя от поэзии к прозе — о «Деяниях Карла Великого», коллекции народных легенд, составленной на латинском языке Ноткером Зайкой. Все это памятники самого конца IX века, результат долгого развития монастырской культуры и далеко продвинувшегося сближения ее с культурой народной.

Но это сближение монастырской культуры с народной имело не только положительные, но и отрицательные стороны. Не получая новых толчков извне, обреченная перерабатывать вновь и вновь культурное наследие времен Алкуина и Храбана, скудеющее с каждым поколением, разобщенная в разобщенной Европе, лишенная воздействия более культурных кругов, вынужденная применяться к нуждам безостановочного притока полуграмотных и вообще безграмотных неофи́тов, монастырская культура стояла перед угрозой

постепенной варваризации, полного растворения в народной культуре. Признаки этой опасности были вполне реальны: если вторая половина IX века была временем обильнейшей и разнообразнейшей литературной продукции, то первая половина X века поражает совершенным бесплодием. Ни одного сколько-нибудь значительного памятника к этому времени не восходит; монастырские хроники этих лет отличаются подчас такой фантастической испорченностью латинского языка, какая не имеет равных во всем средневековье. Императорской власти не существовало, папский авторитет был подорван лютой борьбой аристократических партий в Риме, с севера и запада Европу опустошали норманны, с востока — венгры; политический упадок сопутствовал культурному. Казалось, что вновь настали «темные века».

Из этого кризиса Европу вывело восстановление и укрепление императорской власти в X веке и папской власти в XI веке.